

В. Конашевич

О себе и своем деле

Записки художника

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
В11

В11 **В. Конашевич**
О себе и своем деле: Записки художника / В. Конашевич – М.: Книга по Требованию, 2023. – 106 с.

ISBN 978-5-458-25297-3

Воспоминания, письма, статьи Владимира Конашевича великого советского художника-иллюстратора.

ISBN 978-5-458-25297-3

© Издание на русском языке, оформление
«УОУО Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

«От четырех до шести»

... **Д**екабрь 1941 года. Везут на санках некрашенные гробы — большие и маленькие. Все бело от снега. У тротуаров нагребли целые горы. Трамваи стоят на путях, засыпанные снегом. По белым улицам движутся толпы людей. Стоят бесконечные очереди — на всякий случай: авось что-нибудь будут давать. И расходятся, ничего не дождавшись. Слышны редкие выстрелы или взрывы. Это «нас обстреливают». Радио предлагает идти в убежища, прекратить хождение по улицам и не собираться толпами. Но все так же движутся черные потоки людей, стоят длинные вереницы очередей.

Эта белая зима напомнила мне давние московские зимы, когда на улицах так же лежал снег. С тех пор, как автомобиль окончательно вытеснил лошадь с санями, уже много лет снег сгребают до самого асфальта мостовых, до самых плит тротуаров. Он незаметно исчезает, и в городе всю зиму стоит унылая, черная осень. Прежний зимний вид города понемногу забылся.

А вчера, когда я шел домой, перебираясь через сугробы, мне так ясно вспомнились московские зимы моего детства. В Петербурге я уже не помню старых белых зим, может быть, потому, что живу здесь из года в год, — облик города постепенно изменялся на моих глазах, и последние годы прочно заслонили в моей памяти все прошлое. А в Москву я наезжаю теперь редко, и она легко вспоминается мне такую, какой я видел ее в детстве...

Так же, как сейчас, шел снег. И становилось тихо. В комнатах стелили ковры и голоса звучали по-иному: глуше, тише. На улицах тоже как будто делалось тише. Грохот телег и пролетов, на которых редко тогда были резиновые шины, сменялся беззвучным движением саней. Голоса прохожих и кучеров, покрикивавших на лошадей и зазевавшихся прохожих, как и в комнатах, звучали по-иному: мягче, но явственнее.

Я помню раскрасневшееся на морозе лицо тетки, которая всегда водила нас с сестрой гулять, и засыпанные снегом деревья, и решетки Цветного бульвара.

Но начну свои воспоминания по порядку. Успею ли только?.. Ведь это Ленинград. Идет зима 1941 года...

Фантазия

Несколько лет тому назад, по предложению одного издательства, я написал автобиографию, очень сжатую, которую начал приблизительно так (говорю — приблизительно, потому что не могу восстановить точно: все списки этой рукописи остались в моей квартире в Павловске, откуда в середине сентября мы с женой выбирались уже под огнем немецкой артиллерии. Возможно, что там все погибло). Так вот как я ее начал:

«В углу, где я устроился — между маминим комодом и шкафчиком с нашим детским бельем, — был уютный полумрак. На коленях у меня лежала книжка, которую мне подарили недавно ко дню рождения: мне исполнилось четыре года. Читать я начал в пять лет, через год, а теперь рассматривал только картинки. Переворачивая страницу за страницей, я стал замечать, что всякий раз, как я приподымаю лист книжки, в моем углу становится светлее. Это заинтересовало меня, и я стал доискиваться, в чем дело. Оказалось, что листик книги на мгновение становится так, что свет из окна над моей головой, отражаясь от чего, падал на темную стену под окном. Это мне показалось настоящим волшебством:

я могу «повернуть» свет из окна, «заставить» его освещать темные углы, куда он сам заглянуть не хочет.

Мои опыты и изыскания в этом направлении никогда бы не кончились, если бы не голос тетки: «Вставай, вставай, Володя! Пора идти гулять. Что за манера по два часа сидеть на горшке!»

На дворе была весна (я родился 7 мая 1888 года), в саду чирикали воробьи, цвели желтенькие одуванчики, на кустах сирени распускались почки. Но меня ничто не занимало. Все мои мысли были в темном углу под окном, у маминого комода.

Вернувшись домой, я стал продолжать свои опыты. Когда мне подвернулась книжка в зеленой обертке, моя темная стенка озарилась зеленым светом. Так я совершал все новые и новые открытия. Когда потом (и довольно скоро) я узнал, что луна освещает наш мир ночью так, как можно осветить по вечерам нашу темную детскую светом из столовой, если белую дверь приоткрыть и повернуть, как надо,— это уже не было для меня большой неожиданностью.

Потом в реальном училище на уроках физики учебник Краевича только привел в порядок мои знания. В том, что угол падения равен углу отражения, новости для меня тоже не было: это я знал уже по первым своим «опытам» в углу детской».

Так вот как торжественно я начинал свою автобиографию! Почти как Владимир Мономах свои завещательные поучения: «На санях сядя»... Но у меня, как у гейневского Гиршка-Гиацинта, принявшего английскую соль, было «иное седалище».

Вот эта-то слишком житейская подробность очень не понравилась редакторам издательства, для которого я писал свои заметки.

А вместе с тем этот трон, время, проведенное на оном всегда одновременно с сестрой, которая на полтора года была моложе меня, были для нас моментами, когда особенно пышно работала наша фантазия. Тут именно получила начало бесконечная история про «гадкого мальчишку».

История эта — вернее, целый ряд историй, связанных одним героем,— рассказывалась без конца и начала, с массой все новых и новых вариантов, новых и новых добавлений, пока не была решительно запрещена мамой, случайно ухватившей ухом рассказ о каких-то действительно мерзких проделках нашего героя. После этого «вето» наша история про «гадкого мальчишку» перешла на некоторое время в подполье, пока не забылась вовсе.

Этот герой наш в самом деле заслужил свое имя за год или полтора своего существования в нашем детском воображении. Он был почти нашего возраста — ну, может, чуть старше: мальчишка лет шести. От обыкновенных детей он отличался тем, что его не привлекала обыкновенная детская еда: ни манная каша, ни булочки с маслом. В особенности же он не терпел ничего самого для детей лакомого: ни пирожных, ни конфет, ни варенья. Его тянули к себе всякие гадости: все садятся за стол, где кипит самовар, красуются сдобные крендельки и варенье, а он бежит на помойку. Он ел все самое отвратительное, что только могла выдумать наша фантазия. Кроме того, он был злой, озорник и непослушный мальчик. Мы с сестрой никогда не вздумали бы послушаться старших, не были озорными. Я думаю, что этого «героя» мы и создали в противовес нам, паинькам.

Гадкие склонности нашего «гадкого мальчишки» были тяжелым крестом для его мамы, которую мы искренно жалели. Она была обыкновенной женщиной и даже «тонной дамой», у которой бывали в гостях другие дамы с хорошими детьми. Вообразите, какой подымался пере-

полох, когда нянька притаскивала «гадкого мальчишку» за шиворот или за ухо с помойки. Место действия мы брали из какой-нибудь нарядной и благонамеренной детской книжки — по контрасту. Это была или гостиная, или садовая беседка, где мама сидела с гостями. Тут появлялся обычно папа или дворник со свистком, и дело кончалось поркой, которая, кстати, вовсе не действовала на нашего героя.

Другая бесконечная эпопея — еще более фантастическая — «История про лилипутиков».

Мы рассказывали ее друг другу по вечерам, за ужином. Обедали мы и пили вечерний чай, когда не было гостей, за общим большим столом в столовой. Ужин же нам всегда подавался в детской. Тут стоял круглый камышовый столик, обитый сверху желтенькой клеенкой с рисунком под дуб, и два таких же маленьких креслица. Вот тут, за этим «круглым столом», и родились наши легенды о малюсеньких человечках. Мы твердо верили в существование таких маленьких человечков с наш детский палец, не больше. Ведь жила же когда-то Лизок с вершок, почему и другим таким же не появиться у нас в детской? И мы ждали, затаив дыхание, что вот-вот выскочит такой малыш из щели двери, которую неплотно закрыла за собой тетка. Каша стыла, а мы все сидели, не отрывая глаз от этой щели. Вот уже тетка появилась снова с горячим молоком. Мы получали легкий нагоняй за несъеденную кашу и по кружечке молока. Как хорошо я помню эти кружечки! Одна была розовая с надписью «Соня», сделанной славянскими буквами на белой полоске наискось. Другая голубая такая же — с надписью «Володя». Я был аккуратен и сохранил эту кружечку, пока не вырос. Много лет стояла она потом в буфете, пока не попала в лапки моей двухлетней дочери — она ее и разбила.

Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги. Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои были целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась порезанной. Потом я загнал туда обгорелую спичку, взятую из пепельницы. Я вспомнил о ней за ужином и, показав сестре, сказал: «Соня! Соня! Вот маленький человечек!» И сейчас же сам, по крайней мере наполовину, поверил своей выдумке. Какое это было сложное, более чем двойственное чувство! В глубине-то души я знал, что это всего-навсего спичка, потому и оттягивал всячески появление ее на свет божий. Вместе с тем, видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек! Разве же стоило тратить так много усилий на простую спичку?! Мы останавливали несколько раз нашу «работу», споря чуть ли не до драки, кто это: мальчик или девочка (я, конечно, хотел вынуть мальчика, а сестра девочку), долго обсуждали, куда «его» денем, где «он» будет спать, как «его» зовут.

Мне и сейчас не хочется писать о нашем разочаровании, когда из прореза клеенки появилась спичка. Какое это было горе, горе до слез! И горе неожиданное даже для меня.

Тетка, кормившая нас ужином, совершенно была сбита с толку, не понимая, что за игру мы затеяли и кто кого обидел.

И вот начались рассказы о похождениях маленьких человечков, теперь уже невидимо живших около нас. Каких только приключений не пережили в нашей детской эти малыши, которых теперь стало много.

Игры. Знакомства

Наш день, как и у всех детей нашего времени, начинался с молитвы. Прочтя короткую молитву, составленную для нас отцом, в которой заботе бога поручались «папа, мама, бабушка, дедушка и все родные и знакомые», мы мылись, одевались и шли в столовую пить чай с молоком и розанчиком — другой формы булочки мы не признавали. Попив чая, мы возвращались в детскую и прежде всего, пыхтя и толкая друг друга головами, выдвигали из-под кровати ящик с игрушками, вернее с обломками игрушек, потому что в это почетное помещение попадали только заслуженные, любимые, испытанные друзья. Здесь были куклы без ног или без рук; лошадки, потерявшие подставки и колесики; деревянные кучера без лошадей и санок, которые валялись тут же отдельно; разные драгоценности иногда непонятного нам назначения, так как они происходили из обихода взрослых. Все это было перемешано с разрозненными кубиками разных величин.

Общими усилиями мы вытаскивали наш ящик и опрокидывали его на середину ковра, занимавшего почти всю нашу маленькую детскую. Ящик убирался обратно под кровать, а куча нашего хлама красовалась посередине детской весь день до ужина, когда мы сами должны были ее убрать. Иногда какие-нибудь домашние события или интересные гости отвлекали нас от нашей кучи. Но вывернуть ее на ковер мы не забывали и делали это непременно сейчас же после утреннего чая — таков был обычай.

Когда появились у нас в детской маленькие человечки, они участвовали во всех наших играх. Мы строили для них дома, помогали им перебираться через всякие препятствия в виде гор из кубиков и воображаемых рек, спасали их от разных зверей.

Для тетки и мамы настала тяжелая пора! Входя в детскую, они всюду рисковали растоптать кого-нибудь из наших дорогих крошек. Ну, что делать, если детскую залил потоп и единственное место, где могут спастись малыши, — высокая гора — стул перед маминым рабочим столиком, — на которую они лезут, подсаживая один другого, и вот уже достигают вершины... А мама входит и садится на этот стул!

Наша квартира на Садовой-Самотечной из четырех комнат помещалась на антресолях старого дома, когда-то бывшего, по-видимому, чьим-то особняком. В исторические, уже близкие нам времена в нем помещалась лошадиная почта и в наших комнатах жили ямщики. Теперь, когда мы поселились в этом доме (в 1890 году), там находился Крестьянский банк, где служил мой отец.

Перед домом был сад с большими, старыми деревьями, так что дома почти не видно было с улицы. Этот сад мы называли «большим», потому что еще был садик на нашем дворе, перед одним из надворных флигелей, который няньки называли «полусадником».

Недавно, года три назад, мне случилось заглянуть в нашу детскую еще раз — уже в последний: дом ломали. Открылись две стены детской с двумя маленькими, почти квадратными окошками в одной из них и стена столовой с большим итальянским окном. Эти стены когда-то замыкали для меня целый мир — огромный, полный разнообразия, крупных событий и чудес! Тогда они обладали волшебным свойством, повинувшись моему фантазерству, раздвигаться до беспредельности. Сейчас их «раздвигали» ломами и лопатами рабочие, подымая тучи пыли.

Я было скользнул равнодушным взглядом по этим развалинам. Но что-то кольнуло меня в сердце: два окошка нашей детской смотрели на меня какими-то очень родными глазами. Я стал вглядываться внима-

тельней. Трудно было узнать нашу комнату: вместо уютных обоев с голубоватыми полосами она была выкрашена светло-зеленой клеевой краской с коричневой полоской по краям стен и трафаретным рисунком по углам. Да и сам дом! Он уже не стоял в большом саду, не прятался за деревьями. Перед ним расстиралась асфальтовая пустыня Садовой. Колонны с аттиком были убраны, по-видимому, еще раньше, когда уничтожался сад. Тогда же снесли и лестницу, которая вела в сад из средней, заделанной теперь двери, чтобы дать место тротуару, проходившему теперь под самыми стенами дома.

Я узнал дом и двор окончательно по двум деревянным флигелям, сохранившимся без всяких изменений. Даже краска на них осталась та же — красновато-коричневая. Дом, когда его стали ломать, оказался тоже деревянным. Я заглянул сквозь сломанную стену в нашу детскую, и вспомнилась мне вдруг со всеми подробностями наша жизнь в этой уютной комнате, в этом доме.

Вспомнились и жильцы нашего дома, которые встречались нам во дворе. Одних мы с сестрой разглядывали с любопытством издали, с другими познакомились, даже подружились. Сам хозяин, казачий генерал Дукмасов, проходил иногда по двору, попыхивая огромной сигарой, — толстый, большой, важный. Еще крупнее его, по крайней мере выше его, если не толще, был тенор Большого театра — Донской. На него с благоговением взирала тетка. От нее мы и узнали, что он тенор, а что такое «тенор», мы не могли сообразить. Нас только забавляло, что, когда он заговаривал, из такой огромной туши звучал совсем женский голосок. Другого музыканта из Большого театра, капельмейстера Альтани, я никогда не видел. Он был для меня мифом, если бы не его сын, мальчик почти моих лет, с которым мы пытались подружиться, но так и не сошлись. Он даже был как-то у меня в гостях и поразил своим видом. На нем была черная бархатная куртка с белым отложным воротником и такими же манжетами. А когда он снял шляпу, по плечам рассыпались каштановые кудри. Конечно, я не успокоился, пока мне не сшили такую же куртку (в этом наряде тетка называла меня почему-то графом Калиостро).

В теплые, летние дни на нашем дворе появлялся высокий худой старик, медленно проходивший всегда по солнечной стороне, опираясь на трость с ручкой из слоновой кости. Когда он не надевал пальто, на нем тоже был бархатный костюм — черный пиджак, обшитый тесьмой.

Ближе всего мы сошлись с маленькими старичками, жившими на нашей лестнице, дверь в дверь с нами. Их было трое: муж с женой и сестра кого-то из них. Уж, наверно, они в самом деле все трое были невелики ростом, если они и нам, малышам, казались меньше всех взрослых людей.

Меньше их был, пожалуй, один князь Яшевиль, который иногда приходил в гости к тетке. Это был сморщенный человечек неопределенного возраста. Сначала я видел только его огромный, горбатый, слегка кривой нос. Потом уже можно было разглядеть и сальные волосы, разметанные по потертому воротнику слишком длинного обтрепанного пальто, и грязную бахрому на брюках, и непомерно большие галоши.

От общения с ним тщательно оберегались мы, дети. Тем более занимал он нас. Особенно после того, как мама сказала о нем: «Подумать только, что они с матерью, при всей своей крайней бедности, устраивают журфиксы для своей такой же обнищавшей знати, на которых подается четверть фунта тонко нарезанной колбасы и спитой чай, который князь выклянчивает по трактирам». Разглядывая украдкой жалкую фигурку

князя, я все хотел спросить его, что это за «журфиксы» они устраивают со своей мамой (и какая у него может быть мама!) и при чем тут колбаса и какой-то спитой чай?

Наши маленькие старички, к которым мы с сестрой заходили иногда, возвращаясь с прогулки, жили в такой же небольшой квартирке, как наша, в таких же низеньких комнатках — чистеньких и уютных. Сами наши маленькие старички были какие-то пепельно-серые, совсем не такие чистенькие, как их комнатки. Мне они иногда казались заколдованными мышками, которых какой-то волшебник превратил в людей. У сестры старичка (а может быть, его жены) был смешной румянец, почти пунцовый, ярче всего на носу, сползающий на щеки. А сам старичок был весь в коричневых пятнах, между которыми простужала нежная, розовая кожа. На руках он постоянно носил серые нитяные перчатки, пальцы которых были срезаны, и из них торчали его пальцы с желтыми ногтями. Все это не укрывалось от нашего детского внимания, и мы всегда с немножко брезгливым сомнением принимали от них большие белые пряники в виде рыб и коней, которые, как я заметил, существовали в природе только для подарков и в таких случаях непременно вынимались откуда-нибудь из самой глубины комода.

Уют квартирки старичков создавался половичками на ярко натертом воском красном крашеном полу, обилием всяких комнатных растений на окнах и перед окнами, клетками со щеглами и канарейками, кружевными салфетками на комоде и столиках.

Люблю я этот тихий уют! Сколько в нем теплоты, интимности; человеческое жилье он отгораживает от улицы — растянутой, раздвинутой в бесконечный мир, в котором теряется человек, становится одним из очень многих. А здесь, среди своих цветов, птичек и салфеточек, даже маленький, скромный человек — Человек и Хозяин. Все вокруг него — все эти этажерочки и креслица, — все собралось и стало для этого человека по его вкусу и для его скромного удобства.

Вот это слово — удобство, комфорт — к концу XIX века впервые наполняется настоящим содержанием. Какие там удобства, какой комфорт сто лет назад! Жилище человека XVIII века не было ни уютным, ни даже удобным. У богатых оно было пышным, излишне торжественным, и только. Обилие крепостной прислуги, в несколько раз численно превосходящей господ даже у людей среднего достатка, не создавало никаких особенных удобств: сколько нужно лакеев, чтобы заменить один телефон, и сколько лошадей в конюшне, чтобы возместить отсутствие железных дорог!

А керосиновая лампа? Я помню рассказ отца о первом ее появлении в доме (в шестидесятых еще годах). Лампочка была маленькая, с плоским фитилем и прямым стеклом, вроде тех, что потом вешали в кухнях на стенке. А ее повесили в зале! Да еще собрались всем домом любоваться ее «ярким» светом. А потом на радостях устроили танцы под рояль при свете этой первой керосиновой копилки. Смешно! Потом я пережил появление еще большего чуда — электрического освещения.

Сейчас, когда мои расплывчатые воспоминания увели меня в уютную квартирку наших старичков, я начинаю понимать, какую все-таки особенную и значительную эпоху освещала эта керосиновая лампа. Я всегда относился к ней как-то свысока, считая это время — всю вторую половину XIX века — эпохой, не имеющей ясно выраженного лица. По-видимому, у меня утратилось уже непосредственное ощущение эпохи, а вместе с тем я недостаточно еще от нее ушел, мало отдалился, чтобы почувствовать ее объективно, как это стало возможным по отношению к

более ранним годам — к началу XIX века, которые меня всегда влекли к себе ясной стройностью своего стиля¹.

Именно так: чтобы верно почувствовать смысл, характер эпохи, надо или видеть ее глазами современника, то есть жить в ней, или удалиться настолько, чтобы посмотреть на нее объективно, оценить в ряду других времен.

Не так давно я перечитывал рассказ Чехова «Поцелуй», который, кстати сказать, мне всегда нравился меньше многих других его рассказов. В нем с обычным для Чехова лаконизмом начерчен пейзаж: офицеры, приглашенные на вечер к помещику, идут по тропинке, которая тянется за оградой церкви, вдоль спуска к реке. За рекой — поля, кусты, соловей поет. Прочел, перечел, еще раз прочел — и совсем не почувствовал пейзажа, не возникает он перед глазами, и все тут! Я же знаю, что Чехов никогда не говорит пустых или неточных слов и не пишет о том, чего не видел и не чувствовал.

Виноват, значит, я. Так и оказалось: я все пытался «прочитать» этот пейзаж своими глазами, глазами художника наших дней. Но как только мне пришла в голову счастливая мысль представить себе этот пейзаж уже написанным Левитаном — все сразу стало на свое место: пейзаж возник передо мной полнокровный, ясный.

К концу XIX века если не закончился, то определился и вошел в жизнь целый ряд совершенно замечательных открытий и изобретений в области техники (электричество, фотография). А войдя в жизнь, всеобщую и повседневную, изменил ее, создал многие удобства, которые теперь вдруг стали доступны самому среднему по достатку и положению человеку. Телефон, телеграф и даже простой электрический звонок в столовой, который богатей-вельможа XVIII века почитал бы чудом роскоши, стал вещью обычной в обиходе всякого городского жителя. Рядом с этим и потребности этого горожанина выросли. Обязанности его перед обществом тоже выросли. Если раньше он лежал на диване и курил трубку, которую от времени до времени набивал ему казачок Егорка, или от скуки занимался литературой с пятого на десятое, все остальное время фланируя по Невскому или по Тверскому бульвару, то теперь ему приходится хоть немного поработать — послужить хоть в одном из тех банков и контор, которых к концу века расплодилось достаточно много. А «поработав», то есть отсидев от девяти до четырех, он — этот конторщик — бежал домой и предавался домашнему уюту с тем большим удовольствием, чем больше «трудов» требовалось от него, чем дольше ему пришлось проторчать на людях среди шума и толчеи. А время становилось почему-то горячим, торопливым. Поезда не ждали, телеграф приносил известия поскорее, чем раньше почта на дилижансах, дела закручивались крупнее — словом, жизнь становилась суетливой, беспокойной. Особенно для того, кто не хотел остаться за бортом. Тем большего спокойствия и удобств у себя дома, в быту, жаждал такой деловой человек (а кто же тогда не был «деловым»). В ответ на это изменяется и весь уклад жизни, а вместе с ним и самый «антураж», интерьер жилища.

«...ему доставляло величайшее удовольствие въезжать в их ворота, через двор пройти в подъезд, пройти через переднюю, обе гостиные и наконец проникнуть в будуар, молчаливый, как гробница, теплый, как постель, где вся мебель была простеганная, и посетитель то и дело натывался на всевозможные предметы, рассеянные по всей комнате: шифоньерки, экраны, кубки и подносы — то лаковые,

¹ Везде здесь я говорю о внешнем выражении эпохи, сказавшемся в том, что окружает человека (стены, мебель, костюмы), а не в том, что его наполняет (мысли, стремления).

то черепаховые, из малахита и слоновой кости; бездна безделушек, которые стоили дорого и беспрестанно менялись... Однако все гармонировало между собой и даже поражало взор благородством целого, что зависело, может быть, от высоты потолка, от пышности великолепных портьер и от длинной шелковой бахромы, спускавшейся с золоченых перекладин табуретов».

«...будуар, обитый бледно-голубой шелковой материей с разбросанными по ней букетами полевых цветов... Все ему казалось удивительно нарядным и изящным: искусственные вьюнки, обрамлявшие туалетное зеркало и занавесы на камине, и турецкий диван, и альков в виде шатра из розового шелка с чехлом из белой кисеи...»

«...он впился глазами внутрь экипажа, обитого голубым репсом и шелковым басоном с бахромой. Пышный наряд дамы наполнял всю карету; из этой шелковой, простеганной коробки доносился запах ириса и как бы смутный аромат женского изящества...»

Я здесь повыписал из «Воспитания чувств» наудачу несколько мест из обильных у Флобера описаний обстановки, обрамляющей везде действие романа. Это все богатые, пышные интерьеры. Но и обстановка жилищ людей среднего и даже ниже среднего достатка в принципе та же. Только стены и мебель обиты не шелком, а ситцем.

В середине века приходит резкая, как будто внезапная смена вкусов: обычное для первой половины XIX века убранство комнат, по характеру простое и строгое (темное красное дерево в ранжире расставленной по стенам мебели, строгие формы которой ничем не скрыты, скупость украшений — какая-нибудь ваза на колонке, вышитая скатерть на преддиванном столе), вдруг сменяется «уютными» интерьерами, где мягкая, сплошь обитая, стеганая мебель, украшенная бахромой и кистями («глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели», — сказал Козьма Прутков), расставлена прихотливо и неожиданно, где камин и многочисленные этажерки, полочки и столики завалены всякими украшениями, разного рода безделушками, а двери и окна старательно занавешены шторами и драпировками — все для того же уюта, чтобы отгородиться от уличного шума и суеты застенной жизни, чтобы дома чувствовать себя недосыгаемым в покойной обстановке. Это не случайная, конечно, перемена вкуса, а необходимость, вызванная, как я пытался рассказать выше, сменой потребностей.

Те же новые потребности вызывают в городах еще новое явление. Раньше зажиточный и даже средний житель города — это чаще всего помещик, приезжавший в городской свой дом (если он побогаче, или снимавший квартиру, если у него средств поменьше) на зиму и привозивший вместе с бесчисленными няньками, мамками, казачками, камердинерами и прочей дворней огромный запас всякой снеди своей деревенской заготовки — копчения, соленья, варенья и проч., и проч., и проч., — который с установлением санного пути постоянно пополнялся. Городские лавки существовали больше для простого, рабочего люда, и только в двух-трех «французских» магазинах содержались иностранные тонкие разносолы и вина для любителей и знати. Теперь, со второй половины XIX века, постоянный горожанин — уже не только мастеровой да мелкий писарь. Город притягивает и помещичьих сынков на постоянную жизнь, плодит и размножает купцов всякого типа и ранга; банки и конторы наполняют город деловыми людьми и людишками. У всех этих людей и людишек потребности растут и множатся, а поместий, откуда везти копчения, соленья да домотканые сукна, нет. Вот тут и начало того обилия лавок, которые снабжают горожанина всяким продуктом, и гигантского,

почти дикого к концу века (на наш теперешний взгляд, конечно) разнообразия снеди и всяких иных предметов обихода и роскоши, которое в полном расцвете я еще застал в девяностых годах прошлого века в Москве.

Да и где, как не в Москве, это обилие должно было прийти до полного расцвета. Москвич внимателен к еде, да и вообще ко всякой вещи, и во всем ты ему подай самое настоящее. Да он и сам знает, где его искать, за чем куда идти. Городские сухари всех сортов — от простых сдобных до маленьких сливочных, обсыпанных миндалем, и баранки — от толстой сдобной до тоненькой сушки, брались у Чуева, торты — у Трамбле. У него же и пирожные всех видов — только не меренги, боже упаси: за меренгами москвич шел к Флею! Фруктовые конфеты, цукаты и все, что из фруктов, — у Абрикосова и у Сиу; но не пастилы и смоквы: эти только у Прохорова. Кулебяки, пирожки и калачи — у Филиппова: хоть калач повсюду тот же калач — более точного стандарта не создать, — но уж так повелось. В больших гастрономических магазинах на Тверской, у Белова и Генералова, — все колбасные изделия. Но чтобы настоящий, уважающий свой вкус москвич взял у них сосиски? Никогда! Он за ними поплетется на Цветной бульвар в маленькую немецкую колбасную Бензеля. Зато уж ничего другого, кроме венских сосисок, там не возьмет, хоть и все остальное у этого немца отменно хорошо. А громовские сельди, а горшковская ветчина, а тестовские блины и поросята, которых отпаивали молочком в особых стойлицах, чтобы жирок не «сбрыкнули»! И так во всем, во всем — не только в еде, конечно. (На еде-то я застрял потому, что мы сейчас только о ней и думаем.)

Елка

Я помню, мамина подруга девичьих дней Неточка, или Анна Федоровна, — чудесный человек и сильно ядовитая на язык старая дева, служившая в ту пору под папиным началом, — ездила куда-то очень далеко, к какой-то заставе, в фабричный магазин, где можно было достать дешевле, чем всюду, шоколад в маленьких плитках с оттиснутыми на них выпуклыми изображениями всякого зверья. Случалось это раз в году, перед нашей елкой, для которой эти шоколадки предназначались. Их заворачивали в цветную или золотую бумагу, наклеивали на них картинку или золотые звездочки — и елочные конфеты готовы. Дома же готовились и всякие другие украшения в виде коробочек, ведерок и бонбоньерок всякого рода. Мастерил их папа, который был великим артистом на такие дела. А делалось это все дома не для того, чтобы нас занять работой или позабавить (от нас, наоборот, это все держалось в тайне), а из экономии (покупное — дороже), как и многое делалось у нас дома из экономии. Мама, например, сама нас обшивала (до самой гимназии); по субботам у нас к столу подавались только щи и каша. Словом, жили мы, как я теперь вспоминаю, туговато, хоть мне тогда этого и не казалось. И если я что-нибудь видел только в окнах магазинов и у знакомых побогаче, то думал, что дома этого нет только потому, что «не принято», «не полагается», в силу традиции, что ли. И если бы появилось что-нибудь непривычное, так это был бы уже не наш дом с таким незыблемым распорядком, который и давал нашей жизни что-то очень прочное, постоянное, что и дальше изменяться не должно.

И в этот волнующий вечер все у нас происходило по заведенному порядку. После обеда прибывала Неточка с шоколадом и со своей сестрой украшать елку. Двери в столовую — она же гостиная — закрыва-

лись, и мы оставались в детской. И тогда вносилась елка, о размерах которой мы старались заключить по топоту ног дворника и всяким иным «шумовым» признакам, страшно боясь, что она будет не «до потолка», уверенные, что елка не до потолка ненастоящая, нехорошая. В наших комнатах, где до потолка доставал рукой всякий взрослый среднего роста, удовлетворить наше требование было не трудно. Тем более что елку иногда ставили на табурет, замотанный простыней и обложенный ватой.

На нашей елке побывали как-то дети папиных богатых родственников, купцов. Мой прадед совершил то, что в его среде называлось мезальянсом: женился на купчихе, сестре московского суконщика и банкира. В третьем поколении родство это сильно поразбавилось, и богатые родственники мало с нами водились. Они жили в особняках, в огромных хоромах, а не в маленьких комнатках, как мы; и одна из папиных теток рассказывала потом, какую ей пришлось возводить грандиозную елку, когда ее дети потребовали, чтобы она была, как у нас — до потолка.

Был и я с отцом на этой елке и нашел, что у нас и елка лучше, милее, и веселее нам с сестрой на нашем диване у елки, чем там, с малознакомыми детьми, в огромной гостиной, заставленной шелковыми креслами и диванами, на которые не влезешь с ногами. Да и мой костюм, самый нарядный, которым я так гордился дома, — шерстяная шотландковая рубашка, подпоясанная кавказским поясом с серебряными (настоящими серебряными!) филигранными украшениями, черные шаровары из настоящей «чертовой кожи» и сапоги «гармошкой» с лакированными голенищами — показался не то что деревенским, но грубоватым, неизящным рядом с английскими костюмчиками мальчиков, их шелковыми чулками и лакированными туфлями. Не говоря уже о девочках, которые были расфуфырены, как куклы!

Итак, мы сидели за дверью и ждали, когда нас пустят к елке. За дверью слышались разговор и смех взрослых, шум пододвигаемых к елке стульев, иногда кто-нибудь там вскрикивал, и по полу сыпалось что-то мелкое (мы уж знали — это рвались бусы). А мы с сестрой сидели на ковре в своей детской и вертели аристон, проигрывая все его пьесы, выбитые дырочками на картонных желтых кругах. Это было так же непременно, как все вокруг нас: всякий раз, чтобы скрасить нам нудные часы ожидания, нам выдавался аристон с кругами. Приходилось вертеть ручку аристона, и пишал вальс «Тигренок», его очень любила моя сестра Соня, а я ей во всем уступал. Раз только, когда он мне сильно надоел, я перевернул круг на другую сторону, и аристон заиграл «Тигренка» наоборот, от конца к началу. Меня так заняла эта неожиданная какофония, что я принялся проигрывать так навыворот все круги один за другим.

Тут старшие, почувствовав, как мне надоела музыка, а может, жалея свои уши, выслали к нам все ту же нашу тетку, которая бралась за аристон сама, закручивала на нем «Камаринского», заставив меня плясать под эту музыку вприсядку. Это я делал охотно: казачок считался моим коронным номером (и единственным), который я проделывал иногда и при гостях, когда родители хотели похвастать моими талантами.

В самый неожиданный момент, когда мы даже немного забывали о двери, она открывалась, и мы застывали на пороге всегда в одном и том же немом изумлении.

Последние слова я написал в вербное воскресенье.

Прошла страшная зима — наступает не менее страшная весна. Наступает туго: все еще морозы, тает только на солнечном пригреве.